**1946-й**

Сергей Федякин

**Этот год часто вспоминают и теперь, особенно — в курсах истории советской литературы, вспоминают совсем не добрыми словами. Доклад Жданова, постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», несколько имён, "вычеркнутых" из литературного процесса, и среди них два очень известных — Зощенко и Ахматова. Первый так и не оправится после удара: будет зарабатывать переводами финских писателей, попытается писать не по-"зощенковски"; ходили слухи, что даже пробовал стать "не-писателем" и тачать сапоги. Ахматова ещё сумеет — и даже очень сумеет — написать "ахматовское". Но и для неё постановление 46-го — это годы странного "подполья", которое сочеталось со столь же "подпольной" известностью.**

Тень 1946-го упала и на последующие годы. Раз за разом будут появляться новые и новые "постановления": о репертуаре драматических театров, об опере «Великая дружба», о других толстых журналах… Хмурый силуэт 46-го вспоминается, чаще всего рождая сетования: "Что сделали с нашей литературой!"

Но год 1946-й — не только начало наступления на литературу. Это ещё итог. Не один год, но годы. В 1946-м писатели заканчивали то, что писалось в военное лихолетье, ставили в рукописи последнюю точку, отдавали в журналы, печатали книгами. 1946-й заставил увидеть всё, что пришло в русскую литературу с июня 1941-го. И те десятилетия, которые ныне отделяют нас от начала Великой Отечественной, дают возможность взглянуть на литературу этого времени уже не глазами учебника.

Судьба литературных произведений — жестокая судьба. Большая их часть остаётся в границах своего времени. Мы можем склонить голову перед литераторами, работавшими для фронта. Но перечитывать публицистику Фадеева и Соболева сможет далеко не каждый. Здесь есть "злоба дня", но нет вечности. Да и как сейчас без горькой усмешки можно читать, например, такие фадеевские строки: "Никогда не будет рабом польский народ, давший миру Коперника, Шопена, Мицкевича, народ несгибаемых борцов за свободу, среди которых, как звезда, сияет славянское имя Костюшко. Никогда не будет рабом чешский народ, давший миру пламенного Яна Гуса и Яна Жижку…" И далее, и далее: "никогда" и "никогда".

Алексей Толстой и Леонид Леонов в своих статьях и очерках военных лет могут "зацепить" и сейчас, хотя и эта публицистика остаётся внутри своего времени. Живее выглядят очерки Шолохова, те, что начались с июля 1941-го, с публикации «На Дону». Не случайно, прочитав один из них, Пришвин запишет в свой дневник фразу о редком, честном писателе. И всё же публицистика военных лет — не то, что просится на "золотую полку". Если что и просится "в добавление к сказанному", то одна лишь книга "белоэмигранта" Гайто Газданова о советских партизанах во Франции, книга чёткая, честная. Она увидит свет тоже в 46-м. Увы — на французском языке. Русский подлинник опоздает на полстолетия и впишется уже в совсем другое время.

О художественной прозе военного времени, той, о которой писали в учебниках "для филологических факультетов вузов", по прошествии стольких лет говорить столь же трудно. «Радуга» Ванды Василевской, «Народ бессмертен» Василия Гроссмана, «Непокорённые» Бориса Горбатова… Кто из читателей теперь берёт в руки эти книги? Не говоря уж о «Борьбе за мир» Панфёрова или «Урал в обороне» Шагинян, не говоря о множестве других книг, почти начисто забытых. Можно перелистать «Дни и ночи» Симонова, «Март-апрель» Кожевникова, «С фронтовым приветом» Овечкина. Глаз остановится на некоторых страницах «Взятия Великошумска» Леонова, «Рассказов Ивана Сударева» Алексея Толстого. Быть может, что-то заприметит из «Морской души» Леонида Соболева… Но вряд ли начнётся "вчитывание". Впрочем, и «Молодая гвардия» (в официальной оценке тех лет — "выдающееся прозаическое произведение") разочаровывает. Несколько сильных страниц, много патетической "лирики" и страницы, исполненные в жанре доноса: "Из всех людей, населявших город Краснодон, Игнат Фомин был самым страшным человеком, страшным особенно потому, что он уже давно не был человеком…"

«Они сражались за родину» Шолохова — хоть и здесь есть временами некоторое избыточное форте. Но во время войны — это лишь несколько разрозненных глав. Роман будет дописываться позже, но так и останется только "главами из романа", хотя и вышедшими за границы 46-го.

Что из военной прозы военных лет способно звучать и в наши дни? Удивительное дело — и сейчас можно ощутить жизнь в некоторых страницах «Волоколамского шоссе».

Эта повесть Александра Бека написана совершенно в духе времени. Многое пришло сюда из публицистики. Разве не подобна многим патетическим статьям 40-х речь главного героя, полковника Момыш-Улы, обязанного расстрелять дезертира? "Он любит жизнь, ему хочется наслаждаться воздухом, землёю, небом. И он решил так: умирайте вы, а я буду жить. Так живут паразиты — за чужой счёт…" И всё же, как энергично и как точно построена эта сцена! Сначала — возвышенная и гневная речь командира, потом — жалость, потом — прощение. И неожиданное обращение к читателю: "Всем было легко… Вам тоже, наверное, легко?" И внезапное — как выстрел:

"А между тем было не так. Это я увидел лишь в мыслях; это мелькнуло, как мечта… Я повторил команду:

— По трусу, изменнику Родины, нарушителю присяги… отделение… огонь!

И трус был расстрелян".

Удар прозы намеренно подготовлен. Читатель уже успокоен, умиротворён, когда автор безжалостно и чётко отрезал: "Расстрелян". И следующая, всплывшая в памяти героя история, как человек, укушенный ядовитым пауком, чтобы остаться живым, вырезал из ноги кусок мяса, глотается уже совсем "отрезвевшим" от сентиментализма читателем.

Кажется, из писателей старшего поколения Бек (первая, в 1942-м написанная половина «Волоколамского шоссе») и сейчас захватывает сильнее других. И единственный, кто писал почти в то же время, и писал ещё резче, — прозаик иной формации, Константин Воробьёв. Никому в то время неизвестный, прошедший бои под Москвой, плен, тиф, многочисленные побеги и "очнувшийся для прозы" в партизанском отряде.

«Это мы, Господи!» — одна из лучших книг, писанных в войну и о войне. Пусть и пришла она к читателю лишь в 1986-м, но как мощно звучала эта проза в 43-м, даже в рукописи! По силе некоторых страниц Воробьёв превосходит не только Бека. Изобразительная сила — совсем неожиданная для начинающего. Уже с первых страниц. И подавленное состояние солдата, которого немцы ведут под дулами автоматов в подвал, и ошеломлённое чувство человека, вдруг услышавшего в темноте родную речь других таких же пленных, и вся эта разноголосица разговоров и перебранок, разом ворвавшаяся в уши… Правда, и здесь за первой главой следует вторая, за словом художественным — слово страстное, публицистическое:

"По широкому шоссе от Солнечногорска на Клин и дальше на Волоколамск нескончаемым потоком тёк транспорт отступающих от Москвы немцев. Ползли танки, орудия, брички, кухни, сани. Ползли обмороженные немцы, напяливая на себя всё, что попадалось под руку из одежды в избе колхозника.

Шли солдаты, накинув на плечи детские одеяла и надев поверх ботинок лапти.

Шли ефрейторы в юбках и сарафанах под шинелями, укутав онучами головы.

Шли офицеры с муфтами в руках, покрытые кто персидским ковром, кто дорогим манто.

Шли обозлённые на бездорожье, на русскую зиму, на советские самолеты, штурмующие запруженные дороги. А злоба вымещалась на голодных, больных, измученных людях… В эти дни немцы не били пленных. Только убивали!.."

Писать о войне и во время войны… Похоже, вне публицистики эта проза и не могла существовать. Это позже, через 20лет, Воробьёв сумеет обходиться без ораторского нажима. И всё же и Бек, и Воробьёв — это особая проза: в ней есть та внутренняя энергия, которая заставляет читателя к ней возвращаться. К 46-му году подоспеет и ещё одно произведение, которое встанет рядом с воробьёвской повестью, — «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. Литературная судьба этого прозаика — странная судьба. За «Сталинград» он получит Сталинскую премию. Потом "уйдёт" в эмиграцию. Некоторые вещи напишет с куда большим мастерством, нежели ту знаменитую повесть 46-го. Но именно её "запомнит" история литературы, выжав из самого названия термин для военной прозы 50–60-х: "окопная правда".

Однако не Бек, не Воробьёв, не Виктор Некрасов дали к 46-му главную прозу о войне. Только одинокая фигура Андрея Платонова сумела перемолоть и навсегда одухотворить общий пафос "высоких слов". Только он дал и публицистику, и рассказы того высокого накала, которые и сейчас читаются как большая проза. Здесь даже фразы, напоминающие знакомые газетные "формулы" — обычная вещь в военное время, — звучат в столь глубоком контексте, что производят совершенно особое впечатление. А самые простые слова, уже тысячи и тысячи раз говоренные, звучат первозданно, как в летописи: "Старая мать осталась одна вдалеке — у ворот избы, за рожью, чтобы ждать сына обратно домой и томиться по нём, а сын ушёл. Издали он ещё раз обернулся, но увидел только рожь, которая клонилась и покорялась под ветром, избы же деревни и маленькая мать скрылись за далью земли, и грустно стало в мире без них" («Дерево родины»).

Великие военные произведения — они всегда пишутся не только о нынешней войне, но — о "Войне" и "Мире", о войне как части мироздания. Сквозь военную прозу Платонова, которую венчает его рассказ «Возвращение», сияет та чистота святости ратного дела, отблеск которой ляжет на произведения позднейших лет: на лучшие вещи Виктора Курочкина, Константина Воробьёва, Владимира Богомолова, вообще на тех, чью прозу назовут "лейтенантской".

Вспоминая прозу 40-х, боишься упустить, недосказать, недооценить и переоценить. В поэзии всё отчётливей, очевидней. Риторические воззвания, фельетоны в стихах, сатира — вряд ли их авторы не знали о крайней "недолговечности" такого рода сочинений. Не остановят ныне глаз и знаменитые некогда поэмы: «Киров с нами», «Зоя», «Пулковский меридиан», «Сын». И боль, и воодушевление были неподдельные. Но донести их — и Тихонов, и Алигер, и Вера Инбер, и Антокольский — сумели только до ближайшего по времени читателя.

С лирикой было иначе. С ней в русскую поэзию вошло хрестоматийное: «Жди меня», «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», «Из записной потёртой книжки», «Мужество», «Постучись кулачком, я открою…», «Перед атакой», «Его зарыли в шар земной…»... Имена и давно известных (Симонов, Твардовский, Ахматова), и тех, кто только-только входил в литературу: Гудзенко, Орлов… И рядом, конечно, та лирика, которую назвали песенной и которая жива не только музыкой — и «Землянка» Суркова, и «Ночь коротка» Долматовского, и «Дороги» Ошанина, и многие вещи Фатьянова («На солнечной поляночке», «Соловьи», «Майскими короткими ночами…»), и вершинные стихи Исаковского: «В лесу прифронтовом», «Враги сожгли родную хату», «Сново замерло всё до рассвета…». В последнем стихотворении мы уже не различаем времени. И нужно увидеть дату — 1945 год, — чтобы представить деревню конца войны, где мужчин — наперечёт, чтобы почувствовать не лиризм, но трагизм этих строк: "Что ж ты бродишь всю ночь одиноко, что ж ты девушкам спать не даёшь…"

Лирика военного времени. Пусть большая часть стихов так и осталась в газетах и фронтовых листках — томик "избранного" всё равно значителен. Был и второй, "эпический" том: «Василий Тёркин». "Книга про бойца» Твардовского — слишком известная книга. "Неизбежная" глава любого учебника. О «Тёркине» написано много, очень много. Хотя лучший отзыв — самый краткий, всё тот же, бунинский: "Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всём и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого, слова!"

Если что и могло встать вровень с этим произведением, а быть может, и зазвучать пронзительней и неотразимей — с годами это становится всё очевидней, — то лишь другое произведение Твардовского, последние строки которого тоже были дописаны в том же загадочном 46-м — «Дом у дороги».

С какой утренней свежестью звучит в начале этой "лирической хроники" давнее народное присловье:

Коси, коса, пока роса,

Роса долой — и мы домой.

И с какой печалью оно звучит в следующей главе. И с какой щемящей тоской после. И с каким отчаянием далее… Война, расставания, плен, угон, чужбина и младенец на руках… И какая боль льётся из каждой строки. И с нею — та же осиянная платоновская "святость".

Проза и поэзия, поэзия и проза. Драматургии почти не было. Нашумевшие пьесы — леоновское «Нашествие», «Фронт» Корнейчука, «Русские люди» Симонова — были достойны своего времени. Но годы прошли — и в них отчётливо проступил плакат. Только «Дракон» Шварца по-прежнему нов. Хоть его и ставят чаще с "антитоталитарным" пафосом, а не как драму человеческой души, с её "драконовскими" и "рыцарскими" нераздельными сторонами.

Но если в драматическом жанре было немногое, то и в прозе и в поэзии было ещё и ещё. В этом и была загадка этих лет. Гром войны, боль разлук — и временных, и вечных — рождали не только военную прозу. Судьба этих вещей тоже была разная. Но "хроника" их появления — если даже выбрать самое-самое — тоже говорит о многом.

1943-й. «Перед восходом солнца» Михаила Зощенко. Отважное балансирование между автобиографическим повествованием и психо-философским исследованием дало одно из лучших произведений знаменитого прозаика. На страницах журнала появилась лишь его половина. А далее — убийственная критика, запрет на долгие годы печатать остальное. В сущности — пролог к разносу 46-го.

Третья книга «Петра Первого». Она писалась Алексеем Толстым до самой кончины и оборвалась 23 февраля 1945-го. Хотя и в таком, недовершённом виде «Пётр» — один из лучших русских исторических романов.

Весной 45-го появится «Кладовая солнца» Пришвина. На закате писательской жизни — произведение, излучающее свет.

В 46-м придёт и лучшая, печальная повесть Паустовского «Далёкие годы». Та вещь, от одной главы которой всегда привередливый к современникам Бунин придёт в восхищение и напишет автору о редкой своей оценке: "…принадлежит к наилучшим рассказам русской литературы".

Но и сам Бунин в военные годы пишет рассказы из «Тёмных аллей». Здесь и «Холодная осень» — рассказ, полный воздуха, печали и небесной прозрачности. Здесь и «Чистый понедельник» — рассказ, за который автор благодарил Бога, что отпустил время написать.

Наконец, военные годы — это и последние, самые горестные главы другой классической книги — «Лета Господня» Ивана Шмелёва.

"Когда пушки говорят — музы молчат". Давняя истина редко даёт "осечку". Но если вспомнить цветаевское обращение к Ахматовой: "О, муза плача…" — то и эта муза "не хотела молчать". Пусть первые два варианта «Поэмы без героя» — 1943-го и 1946-го — уступают окончательной, "предсмертной" редакции. И в этом первоначальном виде строки поэмы уже полны классического дыхания…

Год 1946-й. Двуликий Янус русской литературы. Чёрный год "постановлений", "проработок", "отлучений". И один из самых ясных, отрадных, когда сошлись полный вариант «Тёмных аллей» и «Возвращение», «Дом у дороги» и «Поэма без героя», когда самое главное смогли сказать и те, кто был в России, и те, кто жил за границей, когда разом "высветились" писатели самых разных поколений — и те, кому "за двадцать", и те, кому "за семьдесят…" Как странно двоится образ этого года. Не потому ли, что в нём живут не только разные произведения, но и разное чувство будущего? Ведь так же двойственно отразится первый атомный взрыв в высокой русской лирике этих лет. И с "мрачным сиянием", как у Георгия Иванова:

Не станет ни Европы, ни Америки,

Ни царскосельских парков, ни Москвы.

Припадок атомической истерики

Всё распылит в сиянье синевы…

И — с просветлением и ясностью, как у Заболоцкого:

…За великими реками

Встанет солнце, и в утренней мгле

С опалёнными веками

Припаду я, убитый, к земле.

Крикнув бешеным вороном,

Весь дрожа, замолчит пулемёт.

И тогда в моём сердце разорванном

Голос твой запоёт.

И над рощей берёзовой,

Над берёзовой рощей моей,

Где лавиною розовой

Льются листья с высоких ветвей,

Где под каплей божественной

Холодеет кусочек цветка, —

Встанет утро победы торжественной

На века.